

Le Monde en France: 75 c.

Le Monde en France: 75 c.

РОССИЯ И СЛАВЯНСТВО

Органъ національно-освободительной борьбы и славянской взаимности

HEBDOMADAIRE RUSSE

La Russie et le Monde Slave

Fondateur: Pierre STRUVE

Редакторъ: К. И. ЗАЙЦЕВЪ

Directeur: Cyrille ZAITSEFF

Еженедѣльная газета при ближайшемъ участіи
Петра Струве

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА:

9, rue Le Goff - Paris (V)

Tél.: Gobelins 65-95, 12-86

Пріемъ въ редакціи ежедневно отъ 4-8 ч. в.

Контора открыта отъ 1 до 4 ч. д.

Имени Чехова

Русская духовная жизнь 90-х годов 19-го века и первого десятилетия 20-го неразрывно связана с именем А.П. Чехова. Она воплощалась в своей творческой личности так много художественного содержания, связанного с его основными душевными качествами Русских людей и отображающего тяжелую пору упадка, распада, угнетенности сердца, что его писания являются одним из лучших исторических документов, не говоря уже о высоких чисто художественных их качествах.

Но мне хочется сказать о Чехове несколько слов совершенно личного порядка. Я встречался с ним неоднократно, в Москве и в Ялте, и видеть его в такой обстановке, — в «Большом Московском» ресторане, — в семейном кругу, — в его собственной московской квартире, где среди гостей он казался мне одиноким, — в его одинокой жизни в Крыму, где вдали от друзей, он казался недосягаемым и не нуждающимся ни в чем обществе, — и видеть его беседуящим, — дружившим с простотой безукоризненной беседуящим с гением, в Крымском доме Льва Толстого, — а снова видеть его среди его привычных людей, все в той же Ялте, и все также же одиноким, каким он мне всегда казался, когда он бывал в многолюдной компании. И я люблю Чехова за эту черту, когда и был еще совсем молод, и только что начал свою литературную дорогу. Я и люблю его, когда он,

Горький и я, мы возвращались в Ялту, после 2-х или 3-х часов, проведенных в обществе Толстого.

Я любил Чехова, однако, и ранне встретил с ним. В 1889 году, 22-х лет, только что женившись и обзаведясь Кавказ, душевно истерзанный, истомленный и понявший, что саблана какая-то, как казалось мне, неоправданная жизненная ошибка, я вернулся в родную деревушку Шуйского уезда, Владимирской губернии, и в расщепленном мне предельно страстно изучению, по подлиннику, поэзии Гете и особенно Гейне. Злополучная судьба Гейне и блестящая полная равнодушие судьба Гете мне казались взаимно дополняющими одна другую и как-то нескладно — таинственно изъясняющимися мне, чуть-чуть начинающему поэту, судьбу писателя, как писателя. Кто-то из знакомых подарил мне книжку Чехова «В сумерках». Я начал читать эту книгу с недоверием, но тотчас же отождествил ее с Гейне и Гете. Я читал ее медленно, не желая испортить впечатление торжественностью. Она меня поразила. А один маленький рассказ, — чуть ли он не называется «Колдунья» или «Видения», — выдал в душе мой художественный трепет, который и сейчас, вспоминая, чувствую, — путь от женщины; чарою которой неудержимо привлечен.

Я что-то читал еще, тогда, Чехова. Но мне не хотелось этого. А потому моя внутренняя жизнь совсем отбросила меня от желания читать его. Во

мне самом было столько тоски и угнетенности, что каждая страница Чехова была не противоядием, а увеличением душевной отравленности. Полоса отчаяния привела к исходу смерти. Смерть показала свой лик и ушла. А из предельного отчаяния выросла такая изрыль радости, возникла такая расщеплять воли к жизни, к творчеству, к счастью, такая воля к воле, что Чеховское творчество навсегда стало мне нужным. Однако, не он сам. Тонкая зрелость его художественной кисти всегда чувствовалась и озадачивала. И скоро и с Чеховым встретился. Но опять только в области художественно-словесной. В 1893-м году, атом, я был в Скандинавии, — в Швеции, в Норвегии, в Дании. Во время этого путешествия я написал, между прочим, весьма меня прославившее стихотворение «Чайка». Я позволяю себе припомнить его здесь.

ЧАЙКА.

Чайка, страя чайка, с печальными криками носится над холодной пучиной морской. И откуда причалась? Зачем? Почему ей жалобы так полны безграничной тоской? Безконечная даль. Неприветное небо нахмурилось. Закурчалась птица сядя на гребне волн. Плачет сиверный птер, и чайка ридает, безумная. Безпрютная чайка жаль дальняя страны. Я прошу знакомых вспомнить, когда

была написана «Чайка» Чехова, а тех, кто жил в 90-х годах прошлого века в Москве, прошу припомнить, как часто да «Чайки» составлялись и в жизни, и в печати.

Когда я говорю себе, сейчас, «Чехов», и духовным оком погружаюсь в прошлое, мне вспоминаются не отступно два лица, оба кроткие, и полные легкой, грустной шутки, и знающие тонкой художественностью, являющие, во всем, художественное восприятие мира и жизни, а не подход к ним чисто-умственный. Эти два лица — лицо Чехова и лицо Левитана. Сколько из них было плыло плыло — истомой, томившей Русскую грусть! Сколько нежелания ничего рывкого, ни движения, ни слова рывкого, ни даже слишком громкого голоса, ни уместного разжужжания! Легкая, хваткая, быстрая оулка — одним словом, одной усилькой, одним жестом — определение, сразу, малюту, и явления, и события, и живого существа. Это и есть художественное восприятие жизни и мира.

Чехов становился грустнее и уклончивее, и даже кротко — неприятным, когда при нем начинали уговаривать. Он торопился ускользнуть от разлагающегося интеллигентского гостя к другому гостю, с которым сейчас же начинался легкий и чисто личный разговор, полный маленьких подробностей жизни и полный блестящею веселой, легкой насмешкой.

Если я верно помню, это было ранней осенью 1901-го года, что и довольно часто бывал у Антона Павловича в гостях в Ялте, и тогда же позна-

комился с Максимом Горьким, еще походящим в эту пору на человека и на писателя, и тогда же мы были втроем у Льва Толстого, а через несколько дней я был у Толстого один. Меня поразило тогда коренное различие между двумя этими литературными знаменитостями: Чехов и Горький. Один — воплощение душевного изнущения, уравновешенной скромности, при полном сознании своих высоких творческих качеств, и адекватность чувства, и деликатность во всем. Другой — любительство возбуждающий, частью даже и трагический, но больше грубый, душевно угловатый и без надобности рывкий человек — орангутанг, нить — нить да варту и пробуждающийся от животного, от злетиности, когда при нем кто-нибудь скажет что-либо умное или замечательное. И скромный Чехов, которого Лев Николаевич и ценил, и любил лично, был с Толстым поразительно ровен, он говорил с этими великанами, умевшими быть и добрым пастбищем, как равный с равным, или как младший член одной и той же семьи, где в каждом члене семьи течет хорошая, честная кровь. Горький держался с Толстым по подобострастию, как неуместный пришелец, то развязно, как возмнивший о себе слуга. Мои слова о Горьком рывки не потому, что он сейчас играет пресерьную роль и не заслуживает больше никакого разговора. Нить, рывки слова лишь кратко указывать на то, что было востину, проступало, не так рывко, как звучит слово, но проступало с очевидностью.

В те же дни Чехов однажды спросил меня: «Вы очень цените Горького?» Я ответил: «Не чрезмерно. Он ведь будит, и в нем есть грубая сила». Чехов сказал, смотря перед собой как бы вдали: «Его слава предельно несколько лет. Потому эта мизантра кончится». Ошибался кроткий Чехов, но лишь арифметически. Не сколько лет затнудили, но по существу Чехов был в своем приговоре основательнее. Давно уже Горький как писатель, больше не существует. Это страшная жертва маска самого себя. Далеко не из тех, кто унывается, и говорит, и дается мертвое слово злоданий, в действительности живые. И мертвые умейте ходить, говорить рывки.

А тонкое искусство Чехова, его творчество, полное душевной боли и великой разборчивости и осторожности в выборе средств, духовное углубление Чехова на протяжении десятилетий стало лишь видне и очаровательнее и большую, все большую силу благого колдования приобретает. Вривым, хоть и случайным, показателем этого является его, все ростущая, слава в Англии, где его любят, как родного, во Франции, даже в Америке Чехов — тонкий, чистый, благородный художник. Он — вриный тот священный, который называется Искусством. И прав французский поэт, сказавший: «Bon l'Art est bonheur» — «Только Искусство мертво».

К. БАЛЬМОНТ.

Бум. 1929. 6 юн.